

Море, море

Летом, в отпуск, отец брал с собой аккредитивы, что-то вроде советских дорожных чеков, которые можно было обналичить на почте. Переговорный пункт посреди деревьев, откуда мы, из душной кабинки, звонили маме, и я говорил с ней, прижимая к уху чёрную большую трубку. Пятнадцатикопеечные монеты, которые мы скармливали автомату.

Потом мы шли к дому, в котором снимали комнату, кажется, на В-с, я не помню, за спиной плыл нависающий над пляжем ресторан, над ним совсем уж неуместно, как-то как на открытке, болталось небольшое облако, а на углу двух ближних улиц стояла пельменная, тесная и тёмная внутри.

Переговорный пункт стоял там, где улица смыкалась с десятком сосен, стеклянный павильон, внутри всегда было невозможно душно, так что за время разговора носовой платок промокал потом насквозь. Трубка висела как бы в чашке, образованной тремя чёрными лапками, одна из которых была поменьше остальных и служила рычагом. Почти напротив было кафе напоминавшее три небольших шале встык друг с другом, – только крыши этих шале доходили не до земли, а до потолка и были скреплены поперечными баками, отчего образовывались три заглавные печатные А, – в кафе давали кольца с творогом, которые, наоборот, были О: а других гласных, выходит, что и не было тогда, только эти.

На границе двух мест стоял знак в виде трёх звёзд, бывшего герба бывшего буржуазного государства, а неподалёку (слева, если стоять лицом к морю) проходила железная дорога для электричек, насыпь которой едва возвышалась посреди зарослей осоки. Бывшее буржуазное государство теперь обратно на месте, ну, если быть точным, то его муляж, невзаправдашний картонный макет времён моих старших классов.

Вместе с тем, некоторые ещё отчётливо помнят, что в этот самый день на столе директора оказался неведомо кем принесённый букет из белых и красных гвоздик, цвета теперешнего и тогдашнего государственных флагов. У отца была (никуда не делась, есть) небольшая коллекция монет из странных мест, в которой хранились и два серебряных обола сорокового года. Ну, казалось, бы, могли бы они быть и тридцать восьмого, но нет. Всё сходилось к этой самой точке, показывало на неё пальцем и орало – неизвестно что, но каким-то серьёзным криком, не умозрительным.

Как и во всякой истории со счастливым концом, прежде никому теперь неинтересно, кроме непосредственных очевидцев и опосредованных очевидцев тех, непосредственных. Никому не интересно, кроме тех, кто ел чечевичную похлёбку с кефиром где-то в ресторанчике (сосны, чёрное дерево, слишком близкое море) между Л. и Б. В. Б., кстати, был молочный бар, про который папа шутил, что это и есть «*Korova*» *milk bar*. Только там не было никаких *piitsas*, – которые, впрочем, меня тогда не интересовали, – а только два десятка разных молочных коктейлей: какая-то странная идея, не европейская, не русская, не советская даже, а родившаяся, видимо, на стыке перетекающих пространств, – самым прозаическим образом, в голове второго-третьего секретаря исполкома, райкома и прочее. Got, то есть, milk? Ну да, вот что есть, то есть (травы, и её много, – зелёная, сплошная, в глазах темнеет, железнодорожное полотно, небо) – молоко, молока у нас много, – пей, плавай, тони.

«Со счастливым концом» здесь, конечно, очень личная штука. Личная не в смысле политических пристрастий или другого в этом же роде, а в смысле времени, из которого эта история видна, – обол в хорошем состоянии, но с чуть стёртой надписью, – за что им расплачивались? Ну, за молоко, за хлеб, мясо, может быть, зелень (чёрно-белый снимок в «Источнике»), – больше ничего, в общем, и не было, не Гданьск с его вошедшей в пословицы судовой верфью. В коллекции марок (не могу не отвлечься) помню одну, тёмно-синюю с чёрным

орлом, с надписью *Frei Stadt Danzig*, – ни города, ни коридора, один короткий клип: как я высываюсь из окна со слишком широкими подоконниками, а через квартал от Лидино дома, слева, стоит грузовик, кузов которого наполнен камбалой, – блестящей, резко пахнущей, – там магазин «Рыба» с вывеской, синей, должна была бы светиться по вечерам, но нет, не от скупости даже, а просто перегорела. Я смотрю недолго на то, как рыбу пересыпают в ящики, прямо руками в строительных рукавицах, а потом уносят вовнутрь. И вот уже кому-то дают деньги, кто-то спешно переобувается в коридоре и бежит занимать очередь, а ещё через полчаса по всей огромной коммунальной квартире разносится резкий запах. Камбалы я с тех пор не ем, – не потому что, а вроде и не еда, не приходит в голову, запах только. Сползаю с подоконника, прикрываю за собой окно и бегу в комнату, мне семь лет, июнь между первым и вторым классом. Как я одет? Индийские джинсы, кажется. Рубашка. Белая, клеточки нарисованы синим и жёлтым. Не помню, давно, очень давно.

*

На декабрь того года приходились выборы и телевизор танцевал деревянными башмаками на головах уложенных в аккуратные штабеля обладателей плазменных экранов и дешёвых корейских ящиков.

В свободное время граждане читали статьи о том, что будет, когда нефть закончится, Китай выплеснется за северные границы, а по периметру Киева будут установлены ядерные боеголовки, нацеленные на Оптину пустынь и особенно Сергиев Посад, где по утрам к преподобному Сергию приходил медведь, есть с рук и преданно смотреть в глаза как ирландский сеттер; а по ночам – бесы в островерхих шапках, пугать преподобного до потери веры и адекватности.

Алина ушла от Бори не потому что у них не ладилось, а наоборот, потому что всё как-то слишком ладилось, они ни разу не поссорились даже за год, а так нельзя. Собственно, они и не объяснялись, а просто она исчезла обычным порядком, точно так же, как исчезала на работу каждое утро до того, как он успевал проснуться и повиснуть в дверном косяке для положенного поцелуя.

У Бори освободилось очень много времени, и теперь всё оно уходило на чтение статей о том, что будет, когда закончится нефть, и газ закончится, а Китай, наоборот, начнётся и пребудет теперь во все дни до скончания века. Иногда Боря как бы выныривал наружу и вспоминал о том, что Китай, вроде бы, тоже не совсем вечный, прогноз плохо укладывается в обычные выкладки миллениаристов, и что, кажется, никому ещё не удавалось это – быть во все дни до скончания века. Хотя многие хотели. А Китай, вроде, даже и не хочет. С другой стороны, получается у тех, кто не думал.

Нефть, однако, всё не кончалась, каждое утро город привычно корчился в пробках, стоял в районе Баррикадной, замёрзший выхлоп поднимался к небу, исправно доставляя господу богу проклятия клерков в адрес его, господ бога, городских властей и президента Российской Федерации лично. Почта исправно ложилась поименованным инстанциям на столы, они исправно читали её и привычно сплавляли вниз по течению, отчего адресованное компетентным людям и сущностям читали задёранные муниципальные чиновники с невесёма большим доходом за месяц. Обитатели пробок, в общем, наверное, даже, готовы были поспособствовать решению вопроса, но совершенно не знали, к кому следует обращаться на этот предмет, справедливо полагая, что президент Российской Федерации, а наипаче господь вседержитель, взяток, от них скорее что не возьмут, – поскольку рожей не вышли.

Газ тоже не заканчивался, яичницы исправно журчали на сковородках, варились сосиски, а

по выходным пеклись даже и пироги с капустой и мясом. Боеголовки никак не хотели знать ничего об Оптиной Пустыни, но зато живо (с прежних времён) интересовались Саровом, где ещё магистр ордена тамплиеров Бонч-Бруевич наладил переработку травы «сныть» в оружейный плутоний, используя в качестве катализатора слёзы местных детей, особенно несовершеннолетних девочек-целочек.

Алина иногда звонила и говорила Боре, что в целом, всё хорошо. Что летом она поедет в отпуск на Мальту, а там курсы английского языка и замки, ну, и море, конечно. Сложносочинённое море, тёмно-синее осенью, ярко-зелёное летом, осенью барашки, летом ничего, тёмный плотный экран, собирающий в себя картинки с туристических фотокамер, а потом их выплёвывающий, волк, автомат сквозь зубы шипящий, щёлк. Умещающийся в короткие минуты щелчок тысяч, да чего там тысяч, сотен тысяч затворов; скалы, как бы изъеденные водой, наполовину растворённые, - а на самом деле не водой, а ветром, который работает не хуже, но незаметно.

Боря слушал и иногда слышал. Она говорит: «Ты слушаешь?» Это так просто, хлоп-хлоп. Слова, всё, что с ними.

*

Летом, в отпуске, надо было ехать из города на электричке, несколько станций (уже не помню, семь, шесть), на шестой (седьмой?) начиналось море, Красного кирпича пансионат А.Н. в Л., ресторан Ю.П., впоследствии сгоревший, – со стриптизом и бог весть чем по тогдашним временам невероятным, дача мамы Ф., положенная ей как старому большевику (большевичке?), – дом с невыносимо чёрными стёклами, в два этажа.

Воспоминания о предметах, предметы: осока, поросшая травой железная дорога,пельменная на улице, перпендикулярной В-с, за два квартала от. Ленский (не тот), обхвативший голову руками, медленно идущий, качаясь, из сада со словами «Мишель, Мишель, какой ужас!», – вроде Платини мог забить, но облажался, screwed up, как мы сказали бы впоследствии. Впоследствии, очень после, в две тысячи седьмом, невозможно представить. Два серебряных обода сорокового года в жестяной мятой коробке.

У меня есть повод для ненависти, – или хотя бы для нелюбви. Это ведь вы не справились. Дело-то было простое, невеликое было дело. А вы сбросили всё со стола одним движением, – не хотели возиться – и сляпали это своё с поджатыми губами Пыталово. Девятилетний Б., как он вдруг сказал: «Это язык свиней, я не буду на нём разговаривать». Всё понимаю, про гвоздики на столе, про то, как земля горела, я да, я чего. Про вагонзакки понимаю, *москва моя, дочечка восковая*, – хотя откуда? Вчуже, конечно, – но я всё понимаю вчуже, не только это. Всё равно, всё равно. Я больше вас знал, – и знаю – про эти километровые узкие полосы мелкого, слепого песка, пропитанного дождём, про цаплю, про карамельки фабрики Uzvaга. Мы тоже виноваты, – не я один, а мы все. Но ваша вина больше нашей. Это было ваше право, вы решали, – и вы не были справедливы. Ваше право, город, страна тоже ваша, – более чем небольшая, всю целиком видно с башни в С-е, если взобраться наверх, – делайте, что хотите, – *манёвры на танковом полигоне близ Г-и*, – извини, Яна. Но вы не справились, – и у меня есть теперь повод винить вас в том, в чём виновато время, – и только оно.

Что хотите, слова хлоп-хлоп, Лайма, сутки топ-топ, всё, что с нами случается и уходит неизвестно куда. Гвоздики, земля, ДННЛ, Бонч-Бруевич, боеголовки.

*

– Ведь что пытается проделать с русскими их правительство? Это очень просто. Демократия,

авторитаризм, забудьте, я вам объясню. Вот есть поезд, в который спокойно сели китайцы после Мао. Хороший поезд, плохой, неважно. Поезд. Китайцы сели, поезд поехал. Русское правительство этот поезд долго провожало грустным взглядом, а потом подумало: «Чего это?» Давайте мы тоже в этот поезд сядем. А он ушёл. Давно ушёл, ещё когда у них должна была быть косыгинская реформа, была такая, неважно. Потом он ещё несколько раз ушёл. А теперь, чтобы сесть в этот поезд, нужно взять такую большую ручку, которой заводят легковые автомобили в немых фильмах с Чарли Чаплиным и Бастером Киттоном, и открутить время назад. Это сложно, неприятно, долго и, скорее всего, не получится. Но вот, русское правительство берёт ручку и начинает крутить. Оно думает: «Ничего, сейчас покрутим, тяжело будет, ну нам чего, нам не привыкать. Зато потом как открутим, сядем в китайский поезд спокойно и поедем, поедем...». Они не понимают, что пока они крутят, поезд-то едет вперёд. И потом, кто-то же должен будут держать ручку, пока они будут в этот поезд садиться. А Чарли Чаплин умер. И Бастер Китон тоже. И остальные актёры из этих фильмов – они тоже умерли, *they're all fucking dead*. Кто будет держать ручку – непонятно. Но русское правительство, оно об этом не думает. Оно уже почти едет. Ну, практически. Почти уже совсем едет.

*

У Бори зима на пороге, почти уже конец октября, листья не просто на асфальте, а в холодной ледяной каше. Где-то на Ленинском проспекте, куда он ездит на работу. Преп. Иоанн Дамаскин пишет, что как же вот, вы не верите в воскресение и вечную жизнь, а учёными же описана птица Феникс, которая каждые сто лет, и т.д. Боря в воскресение и вечную жизнь не очень верит, но птица Феникс у него живёт прямо дома, в большой клетке, правда, не птичьей, без колокольчика, а с колесом, от хомьяка осталась.

Аля на Мальте. Пишет письма, что ходит сидеть посреди дня на специальную скамейку у реки, на которой ей хорошо сочиняется. Кроме того, тут же происходят курсы английского языка, там они, кроме прочего, читают поэтов Одена и Уолкотта. Аля никак не может понять про фразу *Poetry makes nothing happen*. Она понимает, что понимает её неправильно, но всё равно ей кажется, что иногда стихи заставляют происходить даже ничто. А Оден, вроде, наоборот, имел в виду гораздо более грустное, что, мол, говори – не говори, всё равно ничего не поможет.

Боря пишет в ответ ей, что одновременно и так, и так. И ничего не помогает, конечно, никакие слова, и, с другой стороны, если продолжать, не смотря ни на что, говорить, то всякое случается. Например, если она, Аля, будет продолжать говорить, то встретит какого-нибудь хорошего человека, от которого родит небольшого ребёнка. Потому что тот человек будет её слушать, а от этого вообще часто рождаются дети, когда люди берут и друг друга слушают.

Неважно. Это тоже неважно.

*

Русское правительство едет-едет. Едет куда-то, сквозь снежную равнину едет, ничего никому не везёт, а так только, запахнувшись в шубу зорко, но небыстро прозревает эту темноту, которую мы много раз видели из окна поезда, неважно какого. Правительство пронзает её своим игольчатым продающимся незадородного взглядом, – где бы урвать ещё две-три тысячи долларов, полторы-две тысячи евро? Ямщик, между тем, наяривает лошадей по потным мокрым крупам, – давайте вроде того, начальство опаздывает, голубые фишки сейчас рухнут, не успеем сбросить. А акции второго эшелона? А сам эшелон, пытающийся пробиться к фронту по короткой стальной нитке, гниловатой, вечно в ремонте, забитой вагонзаками и

пустыми товарняками? *Москва моя, дощечка восковая.*

А второй фронт, открытый не там, где надо было, а там, где света было больше, и те постреливают, и эти, а результат? А винтовки, взрывающиеся при первом выстреле? А заградотряд с новогодними хлопушками и петардами? А дробящиеся коротковолновые голоса Чарли и его оркестра, перепетые стихи песенок, переиначенные песенки стихов? Всё потом, что похуже – на потом, всё после, – думает Борис, очень медленно поднимаясь по ступенькам выхода из метро Коньково, Полежаевская, Чертаново, далеко от Центра, из которого льются лучи, над которым падает снег, страх чистого листа превращается сначала просто в страх, а потом в чистый лист, промытый как стекло облегчения после доброкачественного диагноза, но и этого немного. И это неважно.

Это тот самый Борис, да, из того рассказа, о котором немногие вы подумали правильно. Уже гораздо больше десяти лет прошло, почти пятнадцать, а он всё равно думает о тех же самых вещах (Лайма вышла замуж, у неё двое детей, она живёт в Бостоне, ну, в пригороде Бостона, понятно, кто будет с двумя детьми и т.д., в прошлые выходные она возила их смотреть на деревья, потому что осенью, когда листья, это очень красиво, – к подруге в Берлин, СТ. Они смотрели на листья, потом обедали в Hops Bar&Grill, подруга рассказывала, что, – ну, какая разница).

Он идёт по Магистральной, по Островитянова, по Балаклавскому, – и там дом, и там, и даже на Балаклавском, да – тоже дом. Дом везде, потому что дом и там, на В-с, мальчишка лет десяти залезает на велосипед, вправо-влево, влево-вправо, набирая скорость, где дорога пылит под июньским солнцем. Море не то, чтобы в двух шагах, но близко. Старшая сестра там зовёт младшего брата ужинать, – каждый вечер. Имени сестры мы уже никогда не узнаем, а брата зовут Янис, Ya-ani, именно так она выкрикивает, направляясь вечером на запад солнца, прикрыв глаза рукой, – чтобы не было так ярко, чтобы не слепило глаза. А как иначе застанешь несмышлёныша лет семи за игрой в пристенок (в орлянку)? Как схватишь за ворот и потащишь вместе с велосипедом к матери, – ужинать, смотреть на Степашку, на Хрюшу, пить молоко, проваливаться до завтра, до самого сонного дна? Кричи, сестра, выкрикивай имя, прикрывая глаза от света. Тебе уже, как и мне, хорошо за тридцать, а Янису – нет. Кричи, зови его, я тоже зайду, если хочешь, выпить твоего молока. Только скажи, как тебя зовут. А то Алина ужасно ревнует, – особенно если я говорю: *одна девочка, – ну зовут, – неважно, зовут.* Бонч-Бруевич. Смешно.

*

Нет, нет, ничего подобного. Вообще нет, совсем. Я просто хочу избавиться от части этих воспоминаний, – только от части, не полностью. Вот, например это я хотел бы оставить: мы с отцом сидели и слушали Budapest Ragtime Band – в этом открытом амфитеатре, а какой-то человек лет сорока, плохо одетый даже по тем временам, – он вставал после каждой песенки, аплодировал стоя и кричал «Браво!». И с того момента, когда рэгтайм был в расцвете своей недолгой жизни до момента, когда никому неизвестный венгерский оркестрик играл там, на побережье последней империи, уже издыхавшей хотя мы этого и не знали, – эти точки разделяло ну, сколько, – семьдесят лет? То есть, не сто сорок пять, не четыреста, а время человеческой жизни: не очень-то и много, как мы теперь понимаем, и много. Хотя, да, конечно, гораздо больше, – больше, дольше, чем те два года, которые Борис провёл с Алиной.

Но это прошло с тех пор какое-то *представимое* время. И совершенно, конечно, непредставимое, невозможное, потому что тысяча девятьсот восьмой год был *непредставимо*, невероятно давно, он не то, что не виден, невозможно поверить, что он вообще был, что были эти двенадцать месяцев, что вот, кажется, протяни, – но мы так долго

крутили ручку и кулаки держали за всех, которые AFD, что теперь она болит, наша рука, очень сильно болит, а мы совсем не герои и лучше, наверное, того, немного поспать.

В детстве у меня была игрушка, красное стеклянное яйцо с небольшим, аккуратно стёсаным прозрачным окошком вовнутрь. Ниже окошка на нём было выгравировано «*Анна, 1900*». Анна – это моя прабабушка. Следующая Всемирная Выставка была через тридцать семь лет. Теперь, когда пишешь про это, чувствуешь себя как-то неловко. Но, с другой стороны ведь правда, чего, это был именно этот год, – когда красной стекляшке исполнилось тридцать семь (может быть, на самом деле, и тридцать восемь), и с ней ничего, видимо, не произошло, – ну, раз она прожила ещё сорок лет до моего детства, я помню её на вкус там, царапинки, окошко стёсанное, все дела.

*

Переговорный пункт стоял там, где улица смыкалась с десятком сосен, стеклянный павильон, внутри всегда было невероятно душно, так что за время разговора носовой платок промокал потом насквозь. Трубка висела как бы в чашке, образованной тремя чёрными лапками, одна из которых была поменьше остальных и служила рычагом. Теперь даже слова «переговорный пункт» – не о том месте, откуда можно было позвонить маме, а о городке на карте с каким-нибудь знаменитым потом именем вроде Кэмп-Дэвида или Дейтона, или Тильзита. То есть, это не такое место, где опускаешь в серый металлический ящик пятнадцатикопеечную монету и говоришь, а такое, где они все сидят за столом, в костюмах, некоторые в мундирах, и договариваются о том, как именно будет оформлена наша капитуляция перед временем, – или перед чем ещё. Как повернётся.

Я, между тем, не давал им таких полномочий, и Борис не давал, и, тем более, Алина, которая купается в тёплом море на Мальте после уроков английского с его продолженными перфектными временами, в которых, конечно, согражданин, соязычник не то что ногу, а всё поломает, перемелет собственный скелет в мелкие камешки, в гравий, – и потащится по дну реки к несущественному древнему морю, к мезозойскому, силурийскому, пермскому, – совершенно неинтересно, к какому, лишь бы к тёплому, только бы тёплое, только бы подальше отсюда.

Островитянова, Магистральная, Ленинский, Косыгина, Балаклавский. Вот мы парим над остывшими двигателями «Челюскина» («Красина») в газовых масках, вот мы летим надо льдиной, над Кренкелем и Ширшовым, над легкоплавким газетным гартом, над стрекозиными крыльями В.Ч., переломанными в том же году по анатомическим картам. Аля пишет, что, мол, альтернатива, Мальта, океан Тетис, Тефида. Холодно, и купаться, прыгать со скал поздним мартом, хватать рыбу за жабры, приносить её в ресторан, жарить на раскалённых камнях, потому что здесь нет углей, потому что всего ничего осталось сорок хрустальных длинных ночей, девять коротких железных дней.

Да, – отвечает Борис, – так я и думал. Если бы я оказался там, всё бы, конечно, нашлось. Просто ты никогда не делала ничего плохого, – ни маме, ни мне, ни остальным своим мальчикам, никому. Ты и вышла так, что я не заметил бы, если бы не любил, – не дала мне повиснуть в дверном косяке, не поцеловала мне то, что дрожит в виске, не попрощалась как надо, и вообще не была никем никому, никому никем. Это я сам виноват, остался тут со своим со всем, думать про нефть, Бонч-Бруевича, Мотовилова, про живьём, про сад и Эдем. Про Тиббетса новопреставленного, который мучался, а может и нет, про шестьдесят два года жизни потом, про его хрупкий хребет.

Про жёлтую, в одуванчиках Оптину Пустынь, про угол улиц Марии и Элизабет, про старый Китай, про нанкинские соглашения, про Шанхай и Шалтай-Болтай. Про Харбин втянутый кокаином, белой дорожкой КВЖД, про степной советский рэгтайм, про АБВГ, про ABCD.

Про They're AFD, а мы нет, мы едим салат и танцуем под разную музыку; и даже родители наши живы ещё, хотя в пельменной играет вот этот будапештский оркестрик пятьдесят шестого года, и молочный бар «Когова» колышется посреди осоки, неподалёку железнодорожных путей, в пятнадцати минутах пешком от ресторана Ю.П., в сорока минутах от пансионата А.Н., немного поодаль сосен, вблизи солёной воды.

*

По периметру Киева встанут ядерные боеголовки. Травка сныть порастёт дурной кровью изотопного мяса. Саров схлопнется и упадёт вовнутрь земли. Пыталово поскользнётся на болотной острой траве и денется в темноту, где докембрий. Взморье высыпется песком до дна в стеклянную колбу, одни останутся на том побережье каменные безлюдные Саулкрасты.

И вот тогда, вот там, в этой самой темноте до всего, мы достаём свои аккредитивы, советские, голубые бумажки. Милда тянет к закату свои три звезды, в автомат опускает пятнашку. Серебряные оболочки сорокового года звякают, падая в ладонь оборотистого менялы, Борис засыпает. Ему снится Лайма, её пластмассовая, чёрная лапка, мокрый мятый платок, та сторона залива. Свободный город Данциг сжимается до размеров тёмно-синей почтовой марки. А мы да, достаём свои аккредитивы, предъявляем их почте, получаем немного мелких, медленных денег. На них покупаем вкусной еды, удобной одежды, идём кататься на карусели, купаться в море, нырять со скал. Идём писать письма, возвращаться с Мальты, пить кофе с Б., в самой простой сетевой кофейне с железными стульями. И он смотрит, а мы смотрим на него тоже.

Обо всём, что мы видим, обо всём, что он нам расскажет, обо всём, что мы только что вместе узнали из этого бессвязного бормотания на короткой волне со словом, – обо всём этом мы напишем сначала в своём сетевом дневнике, а потом в книжке, которую никто не прочтёт до конца. Потому что она не кончается. По крайней мере, пока мы здесь, пока в кулаке зажаты два серебряных лата. Пока пятнашка невыносимо медленно валится, падает вовнутрь гулкового автомата, ненасытного серого ящика, у которого мамин голос. Пока осока колышется, ветер шумит и гонит песок. Пока электрички идут каждые сорок минут между Д.и М., пока дождь по крыше и мелкие яблоки в миске. Пока Скотт Джоплин играет рэгтайм пятьдесят шестого года, и я, пяти лет, держась за огромную, тёплую, шершавую руку отца, спускаюсь к морю, – слишком большому, серому в белых барашках, пугающему, холодному не проданному пока за долги нашим жадным мёртвым и их наследникам, – взрослым нам, всё понимающим, комкающим в руках аккредитивы, дорожные чеки, – испуганным нам, обворованным, требовательным кредиторам собственной жизни. Мишель, Мишель, какой ужас. Иди по Гданьскому коридору на запад света. Там дождь, сосны, песок.

Море, море, – он говорит, – я твой. Мне не страшно.